

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**

Г. И. УСПЕНСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДЕВЯТИ ТОМАХ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА 1956

Г. И. УСПЕНСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 4



ИЗ ДЕРЕВЕНСКОГО ДНЕВНИКА



МУЧЕНИКИ МЕЛКОГО КРЕДИТА



НЕПОРВАННЫЕ СВЯЗИ



ОВЦА ~~БЕЗ~~ СТАЛА



МАЛЫЕ РЕБЯТА



БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАНЯТИЙ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1956

Издание осуществляется
под общей редакцией
В. П. ДРУЗИНА

*Подготовка текста
и примечания*
Н. И. СОКОЛОВА

**ИЗ ДЕРЕВЕНСКОГО
ДНЕВНИКА**

ИЗ ДЕРЕВЕНСКОГО ДНЕВНИКА

I

Внимание к деревне. — Слепое-Литвино. — Помещичий дом и его владельцы старые и новые. — Барин и мужик. — Волость. — Бумажная точность. — «Без разговоров!» — Денег — денег! — Заработки. — Понравился господам. — Крестьянин Иван Афанасьев. — Бабий заработок.

1

Никогда русская деревня и даже просто «деревенская глушь» не пользовалась в такой степени благосклонным вниманием образованного русского общества, как в настоящее время. Одни, убедившиеся в бесплодности своего интеллигентного существования «в одиночку», ищут, или вернее, полагают найти под соломенными крышами недостающее им общество, среди которого и надеются растворить остатки своих умственных и нравственных сил (см. рассказ «Овца без стада»). Другие, напротив, полагают найти под тем же крышами нечто совершенно новое, небывалое, спасительное чуть не для всего человечества, погибающего от эгоистически направленной цивилизации. Третьи интересуются ею просто с эгоистической точки зрения, стремясь доподлинно знать, что именно можно взять у деревни для улучшения своего интеллигентного существования («Малые ребята»). Но вообще для каждой из заинтересованных групп совершенно ясно стало в последние дни, что деревня начала играть значительную роль и что мой карман, мой ум, мой душевный мир — все это как будто находится в самой тесной связи с карманом, умом и душой деревни. Оказалось, что пустота деревенского кармана опустошит и мой; темнота деревенского ума не даст хода и моему уму, довольно-

таки просвещенному, а иное направление деревенского духа может парализовать и в одно мгновение уничтожить громадные жертвы и труды, страстно и бескорыстно направленные ко благу всего человечества. Когда во главе этой удивительной деревенской силы стояла помещичья власть, никто и не думал считать деревенские соломенные крыши за нечто достойное внимания. Нужно было одно: извлекать из этой соломы золото. И золото это являлось — стоило только барину дать приказ бурмистру. Нужно было водворить где-нибудь цивилизацию, умиротворить, смирить, и проч., и проч. — опять-таки стоило приказать, и мужик бегом бежал через моря и реки, через Балканы и Альпы, забирался в Париж, подъезжал к Англии... Все было возможно в ту пору по единому мановению... Но теперь, когда волшебный жезл из рук интеллигентных передан самому мужику, когда он находится не у помещичьего бурмистра, а у народного, волостного суда, — теперь настало время подумать и о деревне, тем более что за полштоф водки волостной суд иной раз может и не пустить жезла в ход, а тем самым неминуемо подвергнуть опасности и карманное и нравственное спокойствие образованного человека. Необходимо поэтому знакомиться с деревней, узнать, что в ней есть, чего она хочет, о чем думает и вообще что она такое.

Нижеследующие очерки ни в каком случае не имеют претензии отвечать обстоятельно на всю массу вопросов, возбуждаемых русской деревней, потому что это действительно только беглые, случайные заметки человека, так же, как и огромное большинство читателей, незнакомого с деревней и только теперь сознавшего необходимость этого знакомства. Кроме того, случайные наблюдения этих заметок относятся к известной только местности, Новгородской губернии, — к известной деревне, с которыми пришлось пишущему эти строки познакомиться в известное время, именно летом 1877 года. Делать поэтому какие-нибудь общие выводы относительно вообще положения деревни и тем более относительно *народного* духа и миросозерцания — будет невозможно.

При большем досуге и внимательности к делу деревенька, о которой идет речь, могла бы дать обильный и богатый материал, освещающий многое множество смутных представлений о русской действительности, так как

в ней счастливо соединились все нравственные и экономические черты, отличающие наше переходное время: она знакома и с железной дорогой, которая проходит недалеко, и с заработком, благодаря дороге, на чужой стороне, и с барином совершенно нового, коммерческого, даже прямо кулацкого типа (арендатором), словом — знакома с возможностью хлопотать и биться для себя, для улучшения своего положения и в то же время твердо помнить времена крепостного права в лице коммерсанта-барина. Есть тут старые старики, для которых теперешний мужик — распутник и пьяница, которые ропщут и на папироски, и на высокие смазные сапоги, и вообще на все порядки, повторяя при всяком удобном и неудобном случае: «а отчего? — оттого, что волю дали! страху нету». Есть и молодые, которые как будто чуть-чуть задумываются над вопросом: «да почему же, в самом деле, непременно нужно так много страху?» Есть старухи, которые, заслышав о «некрутчине», впадают в какой-то трагический экстаз, ходят как помешанные, причитая и махая по ветру платком и раздирая вам, постороннему человеку, своим беспредельным горем всю душу. И есть парни, которые не то чтобы рвутся в эту некрутчину, а просто не считают ее таким ужасом, о каком помнит старуха. Знают эти парни, что служба коротка, харч хорош, а уйти... отчего ж и не уйти отсюда?.. Словом, измененные экономические и общественные условия в положении мужика, изменившие — или по крайней мере изменяющие его нравственный мир, — могли бы быть наблюдаемы в нашей деревеньке весьма успешно, если бы, повторяю, был досуг, то есть не одно только лето, а год и два, и если бы необходимой внимательности не препятствовала значительная личная отчужденность от деревни.

Запишем поэтому, что можем.

2

Вид деревеньки самый обыкновенный. Холмистые поля спускаются к речке, не широкой и не глубокой, в которой будто бы в прошлые времена было «страсть сколько» рыбы. Теперь рыба перевелась; изредка попа-

дается окунь в четверть величиной да уклейка, занимающаяся съеданием червяков на удочках и потом быстро убегающая. «Прежде были» язи, лещи. «Во какие!» — показывают старожилы (те самые, что говорят: «страху мало»), растопыривая руки на аршин. Щуки в прежнее время попадались по три аршина и по два пуда весу. Теперь ничего нет — ни язей, ни щук; плотва иной раз побалует мужика, а то больше всё раки; да и раки-то не те, что прежде, а маленькие, корявые — «шут их знает, что за раки за такие!» Под впечатлением этих баснословных рассказов о баснословных язях и щуках современный деревенский рыболов может по целым дням мучить себя, тщетно разыскивая по обоим берегам речонки «клёвых мест» и тщетно надеясь на хороший улов: рыбы в самом деле нет; а если и есть, то она почему-то умеет только съедать червяка и уходить. «Видно, и рыба тоже поумнела, — невольно думает современный рыболов: — какого веселого червяка насадил — и то ничего! В прежнее время она бы его так не оставила — эво, как рот-то бы разинула, со всем бы с нутром крючок тащить пришлось, — а тут вот на-ко!.. И червяк ее не веселит».

Веселый, жирный червяк в самом деле напрасно пляшет на крючке, напрасно юлит своим жирным телом, от боли конечно (от этого-то юления его и называют «веселым»): «нет в нонешней рыбе простоты, хитра стала и лукава...» Впрочем, иной раз внезапно, недуманно-негаданно, вдруг в безрыбную речонку забредет в самом деле какое-нибудь чудовище, какой-нибудь необыкновенный язь или какая-нибудь щука аршина в полтора. Откуда являются такие чудовища — решительно никто не знает, и хотя появления их редки, года в два — раз, но зато вполне достаточны, чтобы следующие поколения так же твердо верили в необыкновенные уловы, как верит в них и деревенская старина.

Берега речки кой-где покрыты кустарником, кой-где болотце и песочек, а на дне густая трава, которую большею частью и вытаскивают вместо рыбы мужики, задумавшие побродить (не раздеваясь) с бреднем. В рабочую пору в разных местах речонки мокнут деревянные бороны, перевернутые длинными зубцами в воду. Вообще речонка тиха, ничем не оживлена и молча, потихоньку

течет в тихих, молчаливых берегах. Называется эта речонка Слепухой; а деревенька, лежащая по другой ее стороне, называется Слепое-Литвино: тут, на этом самом месте, где стоит деревенька, по рассказам старожилов, ослепла Литва. Шла она несметным полчищем и, дойдя до этого места, вдруг ослепла и дальше не пошла.

Через Слепуху перекинут новый, земский мост, и его белые перила, белые новые сваи невольно радуют вас, говоря, что Слепое-Литвино не совсем забытая деревня, что кто-то помнит о ней. С середины моста открывается такой вид: направо, на крутом пригорке, среди густого березового парка, виднеется господский дом. Налево, по низменному берегу, виднеется, также из-за березок, красная крыша волостного правления, соединенного с несчастной деревенской «училишней», а подальше, в приветливой зелени березничка, виднеется крылечко кабака. За этой передовой линией построек, обитаемых начальством и интеллигенцией, тянутся жиденькие крестьянские постройки, перемежающиеся плетнями, низенькими, почерневшими крышами амбарчиков и редкими, в двух-трех местах, купами небольших деревьев. Даже и издали трудно отыскать в массе деревянных построек хотя какие-нибудь черты, которые бы могли приветливо подействовать на глаз. «Кое-как», «ничего не поделаешь» и другие положения, выработанные человеком, у которого дела идут плохо, припоминаются даже вам, постороннему человеку, при взгляде на деревеньку. «Кое-как» покрыты крыши, и солома на них придерживается «кое-как» разбросанными на ней жердями; «кое-как» сплетен плетень, «кое-как» держится крыльцо. Даже не приходит и в голову смотреть на это олицетворение «ничего не поделаешь» как на вид или на пейзаж; только взглянешь и думаешь: «как бедно живут-то эти литвиновские мужики!..» Не будь этого нового моста, который говорит, что кто-то думает об этих глухих и бедных местах, тут было бы такому постороннему деревне человеку, как вы, читатель, как я, нестерпимо грустно и горько сразу, с первого дня по приезде сюда... Унылый, бедный вид деревеньки, эта задумчивая тишина, царящая в ней, этот ничем не привлекающий вашего испорченного разнообразием взора упорный, однообразный и беспрестанный труд, держащий деревеньку на белом свете, — все это,

столь неподходящее к вашим испорченным вкусам, производило бы в вас гнетущее ощущение одиночества.

Но вот на ваше счастье мост — и хороший мост, — и уж вам легче. Его правильность и известного рода изящность, старательность постройки и отделки почему-то понятней для вас и веселее, чем унылый вид деревни. Но это еще не все. Пройдя мост с одного конца на другой и приближаясь к крестьянским постройкам, мы, опечаленные серьезно-задумчивою бедностью деревни, с радостью встречаем настоящую мелочную лавку с настоящей вывеской: изображены на ней, по обыкновению, фрукты, виноградные кисти, маленький китаец, а продается деготь, хлеб, кнуты, вожжи, лапти, ситец, двухкопеечные сказки и трехкопеечные папиросы — с одной стороны — это для крестьян, и, с другой, писчая бумага, почтовые марки и папиросы фабрики Петрова — для высшего общества. Лавка эта выступила вперед из ряда крестьянских домов, поместившись на самом бойком месте. Деревня у нее за спиной, направо господский дом, налево волость, кабак, а за волостью, в расстоянии версты — церковь. Кроме этого, мимо нее бежит почтовая дорога на уездный город N.

По воскресным дням лавка эта набита битком; но из двадцати человек, преимущественно женщин, присутствующих в лавке, покупают (купят или нет — это еще неизвестно) никак не больше двух. Остальные только смотрят, любуются красивым видом ситцев, папиросных оберток, трогают товары рукой, прикасаются пальцем. И унылой деревеньке хочется так же чего-нибудь повеселей, покрасивей, как хочется и вам, постороннему в ней человеку. И деревеньку тоже тянет распрямиться иной раз и освободиться на минуту от своей трудовой задумчивости и исполненного серьезной заботы однообразия. Но постороннего, не деревенского человека, человека, долго жившего в городах, эта серьезная трудовая забота, всяющая от всей деревенской обстановки, поражает почти испугом. Ему тотчас нужно чего-нибудь полегче, поспасходительней этих серьезных впечатлений; ему хочется куда-нибудь укрыться от них, и уж он наверное, и без всякой надобности, прежде всего сунется в лавку, если она есть, в волость, к «попу», в господский дом... Он рад будет встретить немецкий сюртук, хорошо запряженный

тарантас, даже обертку знакомого табаку. Так пугает русского, отторженного от народной жизни человека подлинный вид и смысл обыкновенного деревенского угла.

Вот какова существенная черта производимого деревнею впечатления. Эта трусливость перед деревней слагается из внезапной усталости, одолевающей вас (еще только чутьем понимающего и только издали подавляемого размерами деревенского труда), из страха перед вашим бессилием и, к чести вашей, из капельки стыда.

«Легче, легче! — подавленное впечатлениями, вопиет все ваше существо: — чего-нибудь не так просто-правдивого, не так утомительно-ясного, не так кротко и покорно стыдящего вас... Чего-нибудь поразнообразнее, пообильнее красками, чего-нибудь, что бы не так правдиво и сильно действовало на вас и так дерзко не поднимало бы вашей умеющей прилаживаться к обстоятельствам совести».

В ряду таких облегчающих робкую интеллигентную душу пристанищ первое место несомненно занимает помещичий дом. Говорю на этот раз не о том только помещичьем доме, который украшает собою левый берег Слепухи, но о помещичьем доме всех деревенских углов земли русской.

Редкое поистине явление представляют эти рассадники отечественной аристократии. «Чего-чего не было тут в старые годы! Чего-чего не насмотрелись эти стены», — подумается всякому размышляющему о русском житье-бытье, а между тем в десять — пятнадцать лет наидлиннейшие хроники наидревнейших господских домов забываются почти бесследно, не оставляя в окружающих ни единого мало-мальски определенного воспоминания, то есть не оставляя, после своего долголетнего процветания, почти ничего, что бы имело какую-нибудь законность, смысл, соответственный этой законности явления, и соответственную им внешнюю форму. Всматриваясь в длинную историю помещичьего дома, как нельзя лучше убеждаешься, что в однообразных равнинах русской земли, в однообразнейших, все подводящих под одно, условиях естественных нет возможности вытанцоваться, самостоятельно выделиться из этого однообразия чему-нибудь такому в смысле привилегированности, что бы хоть капельку равнялось в прочности привилегированности

старого европейского мира. Простор, то есть в буквальном смысле обилие места для всех, и сознание этого простора, сознание того, что «всем хватит», не дают возможности развиваться в должной мере тому азарту эгоизма, которым должен был жить «благородный» человек. Я знаю, что у меня «может быть» много, что у меня есть это многое; знаю, что со временем оно будет мое, — и я уж вполтину покоее, апатичнее переношу свое теперешнее затруднительное положение. А это сознание, что всем хватит, всегда жило и живет в крестьянине; оно и теперь помогает крестьянину изо дня в день тянуть свою лямку и позволяет ему быть иной раз очень веселым в самых крутых обстоятельствах. Оно было коротко знакомо и барину, который должен был чувствовать, что только казенное право ограждает его привилегированное положение, удерживает за ним его тысячи десятин и что без этого казенного ограждения решительно нет никаких резонов именно ему стоять выше последнего мужика, так как и этот последний мужик, никого и ничто не стесняя, ни у кого ничего ровнешенько не отнимая, может иметь те же самые тысячи десятин.

Именно у барина-то русского никогда и не было внутренней причины быть жадным, воевать за свое привилегированное положение, потому что у него и врагов-то не было никаких.

В высокой ограде своих казенных прав он сидел один, точно в тюрьме в одиночном заключении, и положительно сходил с ума. Кроме таких радостей, как в самом деле довольно хорошо разработанное служение еде и «греху», — что такое, хотя мало-мальски в привлекательных формах, осталось в назидание потомству даже от периода так называемых «настоящих» бар?.. Из тех отрывочных рассказов о прошлом, которые уцелели в воспоминании старожил, вы услышите об ужасных зверствах, возводимых на степень удовольствия, об ужасных бесчинствах против слабых и бессильных попов и чиновников, бесчинствах, тоже имевших целью потеху, развлечение, и волей-неволей увидите, что наш феодал не мог выдумать ни удовольствия, ни потехи, ни развлечения, мало-мальски похожих на удовольствия здорового человека. Порог и наслаждаться этим — надо быть больным; приклеить попу бороду к столу — надо быть

пьяным; вывалить станowego в дегтю и пуху и потом заплатить ему — затея человека и не трезвого и не умного. Мало того, похоже ли на правду — быть другом человечества, человеком неописанной доброты, «хрустальной душой», и не сделать так, чтобы об этих дорогих качествах человеческой души и мысли хоть единое словечко припомнилось народом, не говоря уже о реальных фактах, которых настоящие, не больные человеколюбцы могли бы, при своем всемогуществе (по крайней мере в своем собственном углу), предъявить несметное множество? Словом, не вдаваясь слишком в подробные воспоминания, касающиеся внутреннего содержания и внешнего облика старобарского житья-бытья, невольно убеждаешься в том, что мозг, ум, сердце плохо и нездорово делали свое дело в этих обширных, когда-то блистательных господских дворцах, и, напротив, что-то напоминающее расслабление мозга, вялость, упадок всех сил, болезненнейшие нервные припадки характеризует собою шумный период боярского житья. Ничего похожего нет на ястребиный образ жизни голодного, но жадного европейского хищника, безжалостно рвавшего куски из чужих рук и утаскивавшего их в свои орлиные гнезда. Это — ястреб. А наш барин — я и не знаю, что такое. Сидит и объедается, сечет, от скуки заводит тяжбу, бьет направо и налево и всем за это платит, «колобродит», в веселые минуты хоронит осетра или опять-таки дерет станowego, попа. Еще хуже барин-вольтерьянец, революционер, собирающий оброки, продающий крестьянские деревни на своз. Какому ястребу придет в голову рассуждать о благе цыплят и в то же время хватать их? Ястреб только хватает и ест. Или: — какой голубь будет пожирать своих птенцов, как пожирал их голубь-революционер — барин, торговавший крестьянами? Все это таило в себе неправду, все говорило о недостатке внутренней сильной и резонной причины быть феодалом, баринном. Не было причины стать во враждебные отношения к «черни непросвещенной», так как она и не думала враждовать. Ну как же, из чего, из какого материала выделать свое барство при таких неблагоприятнейших для неравенства условиях?

Слепое-Литвино также, хотя очень и очень смутно, помнит это время «настоящих» господ; но, кроме какого-то

утомления при уходе за этими капризными, болезненными и несчастными людьми, нет никаких прочных воспоминаний об этой знаменитой поре, нет ни прочной злобы на прошлое, нет и доброго о нем слова. Сторож, прослуживший по необходимости лет двадцать пять в сумасшедшем доме, должен был, мне кажется, по окончании этой службы точно так же вспоминать ее, как вспоминает мужик, то есть утомлением от этой возни с людьми, которые не знают, что делают, и бьют его, несчастного, и плюют, и ругают так, зря, без всякой причины, «ни за что».

3

Но вот, наконец, этот шумный, жирный период настоящего барства кончился, оставив по себе кучи законных и незаконных ртов и наследников, мебель, пропитанную жиром человеческим до того, что к ней нельзя прислониться (непременно прилипнет либо плечо, либо затылок), облупленные амуры на потолках, амуры и «псишэ» по стенам, громадный процесс в суде и несметную кучу долгов. Разбрелись музыканты, разбрелись повара, разбрелись по свету законные и незаконные рты, убедившись, что надо искать других кусков, так как «на всех» оставшегося нехватит. На весь этот порожденный праздностью, больною фантазией и обжорством люд, в самом деле, приходилось так мало (если разделить поровну), что для каждого рта было гораздо удобнее, ссылаясь на имеющееся получиться богатство, занимать у первого ротозея, чем в самом деле получать это богатство в руки. Как сумели извертываться эти потомки доблестных отцов — очень хорошо рассказывают нам процессы, и мы не будем останавливаться на этом подробно. Неумение делать, неумение думать и бессилие не только победить, но даже и бороться с громадным аппетитом изуродованной плоти — вот вообще характерные черты, наследованные потомками.

Покуда разбредался весь этот «обреченный» народ, покуда он пристраивался так или сяк к разным местам и кускам, барский дом стоял один-одинешенек, полегоньку опустошаемый неведомо каким людом и быстро разрушаемый природой. Разрушались гроты, мостики,